

СМЕРТЬ, ГДЕ ТВОЕ ЖАЛО?

Пили чай у него на даче. Спросил: «Василий Васильевич, а когда мы с вами познакомились-то?»

«Да что ж вы такое спрашиваете, Гена, — Смыслов укоризненно посмотрел на меня, — вы же сами знаете, что мы всю жизнь были знакомы...»

На турнире в Бразилии в 1977 году, когда я близко сошелся с ним, Смыслову было пятьдесят шесть, и я не помышлял, что когда-нибудь буду писать о нем: нас просто связала душевная близость.

Виделись мы бесчисленное количество раз: в Швейцарии, Франции, Бразилии, Англии, Аргентине, Югославии... И конечно, в Москве на турнирах, у него дома и на даче, у меня — в Амстердаме. За несколько дней до того, как он отправился в больницу, откуда уже не вернулся, мы говорили по телефону...

В частных беседах Смыслов был куда интереснее, чем в интервью и публикациях. Мысли, подспудно присутствовавшие всегда: как посмотрит начальство? Не отразится ли это на выезде? Что подумают? — сковывали его. Он скрывался за общепринятыми формулировками и постоянно держал мысль под контролем. Поэтому все интервью с ним, даже последнего периода, когда он позволял себе больше, чем в советские времена, кажутся мне пресными.

У нас выработался особый, шутливый тон разговора, который мы могли поддерживать длительное время. Со стороны могло создаться впечатление, что два великовозрастных студента продолжают пикировку, начатую много лет назад, хотя на самом деле нередко речь шла о вещах нешуточных, порой и трагических.

Несмотря на внешне несерьезный тон разговоров, я никогда не воспринимал Смылова с комической стороны; тем более не делаю этого сейчас. Это было бы большой несправедливостью, а для меня, кроме того, и неблагодарностью.

Его монологи были так интересны, что я начал ловить себя на мысли: этого бы не забыть, а это может быть интересно не только

мне. Начиная с определенного момента, я стал записывать его рассказы.

Думаю, что он сам понимал смысл моих расспросов и к некоторым из них готовился, формулируя мысль четко и недвусмысленно. Распуская пряжу наших диалогов, я вполне осознанно решил сохранить корявость, присущую почти любому разговорному общению, убрав разве здесь и там относящиеся ко мне комплиментарные слова. Чтобы не пострадало смысловое содержание, я оставил их только в считанных случаях, но это совсем не значит, что эти слова забыты.

Я осмелился взять его речь в кавычки: монологи Смыслова не пересказаны мною, а воспроизведены слово в слово. Некоторые из них, записанные на магнитофонную пленку, сохранили живые интонации его московского говора с «што», «канешно», «Масква», «п-а-анравил-ся». Он говорил: «третьего дня», «нынче», «давеча», «все от лукавого», «бес попутал», «суета сует». Часто повторял максимуму, произнося ее то по-французски, то по-русски: *fait ce que dois, advienne que pourra* — делай что должно, и будь что будет.

Как и у большинства людей, почти всё, прочитанное им, относилось к детскому и юношескому возрасту, но сохранилось в памяти навсегда и он часто и с удовольствием цитировал русских классиков. Любил вставить в речь двестишие, а то и четверостишие из Пушкина, Грибоедова, Некрасова, Майкова, врезавшиеся в память слова Гоголя, Островского.

За несколько лет до смерти спросил его: «Василий Васильевич, вы Гоголя когда в последний раз читали? Лет шестьдесят тому?» «Шестьдесят? А все семьдесят не хотите, а то и с гаком...»

Общаясь с ним, я замечал, что стилизуюсь под его манеру разговора и употребляю его словечки. «Ну что, Г., вчера всё к партии готовились, на прогулку не вышли? — спрашивал меня, расстроенного после проигрыша. — Но и вас не обошла участь сия...»

«Да уж, — слышал я собственный голос, — не в коня корм. Звезды, верно, на небосводе не были расположены благоприятственно. Надо было козьею ножкой...»

Видя нас постоянно вместе, коллега-гроссмейстер спросил меня как-то: «Откровенен ли с тобой до конца Василий Васильевич?»

Кто может ответить на такой вопрос? Откровенен он был, конечно, только со своей женой, Надеждой Андреевной, Надюшей, Надин, но это было не откровение, а что-то другое: можно ли быть откровенным с собственной рукой? И куда бы он ни приезжал, войдя в гостиничный

номер, первым делом доставал из чемодана и ставил на столик рядом с кроватью фотографию молодой улыбающейся Нади.

Он говорил мне вещи, которые обычно не говорят другим. И не только потому, что это был я. Просто все сошлось: здесь не надо было держать ухо востро, когда говоришь с соотечественниками. Не надо было мучиться, коверкая английские или немецкие слова. К тому же опыт человека, прожившего почти три десятилетия в той же самой стране, делал само собой разумеющимся многое, чего не мог понять ни один иностранец. И наконец: человек того же цеха, той же профессии, интересы которого к тому же никоим образом не пересекаются с его собственными. Немало!

Памятью обладал замечательной, хотя и воскликнул однажды, когда я начал расспрашивать его о старых временах: «Ой, Г., ничего не помню! Это мне благодать такая дана — забывать. Но удивительный феномен: то, что надо было бы забыть, то и помнишь больше всего...»

Он постоянно и страстно увлекался чем-нибудь. В конце сороковых, начале пятидесятых годов это было столоверчение, спиритизм, которым, по его словам, занималось немало людей из высших эшелонов власти. Со многими он был знаком лично, называл и фамилии.

При мне уже был у него период, когда он только и говорил о свете в конце тоннеля и почти все свои речи начинал словами: «а вот в книге Ляйф авте ляйф сказано...»

Потом увлекался какими-то идолами, божками. Этот период начался у него после посещения Исландии в 1977 году, длился не очень долго и кончился тем, что он в одночасье, разочаровавшись, выкинул все с глаз долой, из сердца вон.

Застал я и период его увлечения НЛО, таинственными явлениями, инопланетянами, время от времени посещающими Землю. На турнире «Интерполис» в Тилбурге в 1979 году, когда он в который раз начал говорить о летающих тарелках, Олег Романишин позволил себе какое-то ироническое замечание, и Смыслов не на шутку рассердился.

После поездки на Филиппины, насмотревшись как местные хилеры без всякой анестезии удаляют опухоли, был под сильным впечатлением увиденного, но потом прошло и это увлечение.

В июле 1999 года в его речах появился новый мотив: «Знаете, Г., что за даты близятся? Да вот именно! Нострадамусовы! А ведь Нострадамус многое правильно предсказал...» Рассуждал о деталях конца мира, приводя мне, сомневавшемуся, решающий аргумент: я сам по телеви-

зору слышал. Но как только все указанные сроки прошли, сошло на нет и это увлечение.

Все победила религия. Такое случается нередко, особенно в годы, когда последний причал становится виден отчетливо. Сам он утверждал, что верующим был с молодых лет, я видел у него крест на золотой цепочке, а во время прогулок, если представлялась возможность, Смыслов заходил в церковь, ставил свечку, крестился на иконы.

Он знал, что я равнодушен к религии, и когда задавал ему вопросы, болезненные для каждого верующего, он сдвигал брови, и я слышал в его голосе интонации: правильный ответ на вопрос, что делал Бог до сотворения мира — занимался сооружением ада для задавателей такого рода вопросов.

Однажды, начитавшись на ночь Шестова, спросил: разве Писание может выдержать очную ставку с самоочевидными истинами? Насупился: «Вы, Г., всяких книжников, фарисеев да садуккеев читаете, а вместо этого полезнее было бы в церковь сходить или хотя бы в синагогу».

Но он благоволил ко мне и позволял высказывать взгляды, несозвучные с его собственными, при условии, что я не делаю этого очень часто и вопросы ставлю не слишком остро. Когда я старался не перечить ему и проявлял смирение, он не мог не чувствовать, что это смирение Агриппы, согласившегося с апостолом Петром: ты меня почти убедил.

Я стал избегать этой темы, поняв, что в споре убедить нельзя, а обидеть нетрудно. Тем более собеседника, слушающего не аргументы логики и рассудка, а обладающего верой, которая идет от сердца и потому не нуждается в доказательствах.

Как и все верующие, он считал земное бытие не более как переходом к вечному. Не знаю, каким виделся ему рай, если удастся «на проскоке» (одно из любимых выражений!) очутиться там. Наверное, представлялся местом, наполненным божественным пением, музыкой Баха, игрой в шахматы, составлением этюдов, прогулками по дивной природе, неторопливой беседой с друзьями.

«В 77-м году был я секундантом Спасского в Рейкьявике на его матче с Гортом, — вспоминал Смыслов, — и пригласили нас на прием в советское посольство. Не помню уж о чем разговор зашел, но Борис Васильевич сказал так иронично советскому послу: а В.В. у нас в боженьку верует... Посол и особенно жена его так прямо и взвились — что за чепуха, прямо-таки мракобесие, поповщина, а у меня спрашивают: «Правда?» А я говорю: «Правда. Все правда...»

Перед тем как записывать в Голландии первую в жизни пластинку, волновался очень. Утром пошел в церковь, долго молился, а вернувшись из студии, где все прошло отлично, сказал: «Не поверите, Г., подмигнула мне мать Мария, давай мол, не робей, все будет хорошо. Так знаете ли — у меня от сердца даже отлегло...»

Гуляя по маленькой деревушке под Тилбургом, доходили до церкви, когда и заглядывали в нее. «Цифры какие-то устрашающие — 50, 100, — спросил в первый раз, останавливаясь у лоточка со свечечками. — Неужели это в гульденах?»

«Да нет, В.В. — это в центах, в центах».

«Точно знаете, Г., что в центах? А то неровен час...»

«Точно, точно, В.В.»

«Ну тогда можно и свечечку поставить... А хотите, Г., я и за вас поставлю? Вы хоть и не христианского вероисповедания, но для души всяко не повредит».

В августе 1998 года в Элисте я разговаривал несколько раз с Майей Чибурданидзе и ее духовным наставником отцом Рафаилом. Прощаясь, отец Рафаил, крупный черноволосый мужчина лет пятидесяти в рясе, спросил: «Ежели предал лучший друг, и друг простил предавшего на смертном одре — будет ли он прощен?»

На следующий день увидел в Москве Смыслова, которому и переадресовал вопрос отца Рафаила. Тот долго не раздумывал: «На том свете разберутся!» К этому ответу он прибегал не раз, когда речь шла не только о религиозных проблемах.

В 1982 году я побывал в Ленинграде. Несмотря на наличие голландского паспорта, мне настоятельно рекомендовали не делать этого: стояли чугунные советские времена, и трудно было сказать, во что может вылиться такой визит. Игнорировав обязательную для пассажиров круизного судна программу с экскурсиями и посещением музеев, я следовал своей собственной. За несколько часов до отплытия теплохода, не удержавшись, заглянул в Чигоринский клуб.

«Двери-то обшарпанные, когда ремонт делать будем?.. Видите: иностранец пришел...» — сказал, войдя в знакомые с детства стены. История обросла подробностями. Рассказывалось, что Сосонко, тайком приехав в Ленинград, обещал выделить десять тысяч долларов на ремонт клуба.

«Слышал, слышал, Г., про ваш набег, — говорил Смыслов, когда я встретил его через месяц в Тилбурге, где мы играли в турнире «Интер-

полис». — На проскок пошел? Совсем голову потерял?» — улыбаясь, выговаривал мне.

Мы играли в пятом туре, у меня были белые. Все наши партии раньше кончались вничью, какие и без игры. Смыслов пассивно разыграл дебют, и с каждым ходом мое преимущество увеличивалось. Когда его позиция стала совсем проигранной, он приподнялся на стуле, протянул руку и торжественно произнес: «Радуйтесь, Гена, но не гордитесь. Я не могу играть против своих друзей!»

Он дулся и ворчал на меня весь следующий день: «Этот? Да он родного отца за пятьсот долларов прирежет, а не то что десять тысяч кому-нибудь пожертвует. Жди от него...» Но потом все вошло в привычную колею: прогулки по окрестностям небольшой деревушки под Тилбургом, где жили участники турнира, и длинные-длинные разговоры обо всем.

Эту партию Смыслов не забыл и через два года в том же Тилбурге взял реванш. Играл он с большим воодушевлением, и я вспомнил Таля, заметившего, как «ввинчивает» в таких случаях фигуры в доску Смыслов. Это была наша последняя партия.

В нем, как и во многих русских людях, было очень заметно преклонение перед иностранным, восхищение качеством изделий, обслуживанием в ресторане, сервисом, вообще отношениями между людьми и ироническим, порой и презрительным подтруниванием над всем этим. Чувства, на первый взгляд противоположные, а на самом деле очень легко уживающиеся друг с другом.

Войдя однажды в большой магазин на торговой улице Амстердама и увидев платья и блузки различных фасонов и расцветок, комментировал: «А ситцы все французские, собачьей кровью крашены...»

Легко объяснимый синдром покупок был у всех, приезжавших из Советского Союза, исключений здесь не было. Но у Смылова был рецидив этого: обмен только что купленной вещи. После осмотра обновки, когда и всестороннего обсуждения ее с коллегами, на следующий день он торжественно нес покупку в магазин для обмена или возврата денег.

Когда у него проявился этот синдром, я не знаю, но в середине семидесятых годов это был уже застарелый недуг, не поддающийся лечению. Думаю, что когда в первый раз обмен безболезненно удался, ему захотелось сладострастно испытывать это ощущение все чаще и чаще, а потом уже и всегда. Как всякий алкоголик, он не считал это

болезнью, стараясь припомнить случаи окончательной покупки, или попросту утверждал, что может легко обойтись без обмена.

«Давайте, Г., погуляем, но прежде в магазин зайдём, купим кофточку Надежде Андреевне. А потом уж отправимся, куда скажете», — предлагал В.В. перед традиционной прогулкой в Тилбурге. «Нет уж, вы сами покупайте, я на улице подожду, а завтра пойдем с вами менять...» Смеялся.

В другой раз обменивали блузку, уже обмененную днем раньше, но в конце концов не показавшуюся ему из-за слишком вольного покрова.

«Вам действительно нравится, Г.? — спрашивал В.В. с той же интонацией как и сутки назад на том же месте. И вздыхая, добавлял: «Знаете, однажды играл я в Швейцарии и выбрал для Надежды Андреевны кофточку. Так она ее в пух и прах раскритиковала. И так получилось, что через два месяца секундировал я Спасскому в Женеве, когда он с Портишем играл. Зашел в универмаг, глаза прямо разбежались, и можете себе представить, Г., из всех фасонов и расцветок выбрал ту же самую кофточку, что в прошлый раз...»

«В.В., а почему говорят — в Москве теперь все есть, а все-таки здесь покупают? В чем штука такая?»

«А помните, Г., еще у Островского, кажется, сказано — вам какого винца налить? — лакей спрашивает. Французского? Высшего качества? Это нам недолго. Наклеечку переменить и дело с концом. Все поняли, Г.?»

Гуляя по Тилбургу, заходили то в один, то в другой банк. Он привез с собой из Москвы 90 норвежских крон мелкими купюрами (что-то около 30 долларов тогда) и хотел их поменять по «самому хорошему курсу». Оправдывался: «Я ведь только пиратские комиссионные им не желаю платить...» — и подкреплял свои слова народными мудростями: копейка — рубль бережет, свой глазок — смотрок, как ни богат, а копейке рад.

Сидели после утренней прогулки 14 октября 1992-го в тилбургском кафе.

«Так вы, значит, Г., в Новую Зеландию собрались? И надолго?»

«Да, В.В., думаю сначала в Австралию, а потом в Новую Зеландию махнуть. Месяца на два, а то и дольше».

«М-да, а я вот, знаете, в книге Тура Хейердала недавно вычитал: отправился он с молодой женой в свадебное путешествие на Таити. Пальмы, океанский прибой, фрукты диковинные, одним словом, рай

земной. Повстречали там одного норвежца, тридцать лет на Таити живущего. Ну, говорят ему: повезло вам... А тот: мне бы сейчас морошки да ветра осеннего...

Или вот — играл в Мар-дель-Плате в 1962 году. Разносолы, рыба всяческих сортов, — ешь не хочу. А хозяйева говорят — это что, вот в выходной день мы вас такой рыбой накормим — пальчики оближете... Действительно, приготовил повар какую-то рыбу в горшочке и соус специальный — попробуйте, говорят, деликатес необычайный. Я пробую, все сидят, на меня смотрят. Батюшки-святые, да это треска! В Аргентине деликатес необычайный и экзотика, а я третьего дня для Надежды моей по рублю кило на базаре покупал. Все поняли, Г.? Ну давайте трогать, уже играть скоро...»

В гостинице, когда я вызвал лифт, советовал: «Знаете, Г., в России есть такой доктор Медведцев, он у нас по телевизору выступает, так доктор этот советует лифтом совсем не пользоваться. Каждая ступенька лестницы — говорит — секунду жизни прибавляет, так что я теперь по лестнице поднимаюсь, и вам полезно было бы... Не пойдете? А зря. Ну, как говорит в таких случаях Марина, жена Бориса Васильевича: *a tout alleur, a tout alleur...*».

Рассерженным видел его буквально считанные разы. Один случай запомнил очень хорошо: было это 13 мая 1981 года. В Амстердаме игрался ИБМ-турнир, и мы вышли по обыкновению на вечернюю прогулку. Сказал ему, что в Риме было покушение на Папу, но тот остался жив, а стрелявшего поймали. «Поймали? Такого злодея надо немедленно и прилюдно повесить на площади Святого Петра, чтобы другим неповадно было. И не просто повесить, а за яйца...»

Испорченный западной демократией, я, охнув, стал говорить что-то о суде, о праве на защиту... Не дал договорить: «Я бы этого негодяя, Г., за яйца повесил и вся недолга, без всяких ваших судов да защит...»

Хотя к ругани других относился снисходительно, бранных слов не употреблял совсем, даже словечек, сегодня считающихся детскими. Однажды рассказывал, как слушал оркестр народных инструментов под управлением Николая Некрасова: «Камаринскую лихо отыграли, там слова, конечно, неприличные, такие и произнести нельзя: ах ты, такой-сякой сын камаринский мужик, заголя это самое место, по улице бежит... Но так уж написано, здесь уж ничего изменить нельзя...»

В другой раз зашел разговор об одном известном гроссмейстере. «Знаете, Г., Кобленц знал его прекрасно еще с довоенных времен и

называл одним нехорошим словом. Не могу вам сказать каким, Надежда Андреевна рядом стоит».

«Что за слово такое, В.В.? Скажите хоть шепотом...»

«Нет, не могу. Даже шепотом не могу...»

«Ну скажите хоть на какую букву, я сам догадаюсь».

«Какой приставучий! Ну так и быть, скажу: на букву “д” начинается...»

«На “д”? Да на “д” и ругательств в русском нет. Дураком?»

«Да нет, не дураком, дураком я сказал бы...»

«Ума не приложу, видно давно я уехал из России. Долбоебом, что ли?»

«Фу, Г., какие слова! Нет, по-другому Александр Нафтальевич его называл...»

Так и не знаю до сих пор, каким словом называл Кобленц гроссмейстера N.

В Лас-Пальмесе в 1982 году играл в межзональном. Было ему уже за шестьдесят, но играл он с блеском. К партиям почти не готовился, каждое утро еще до завтрака спускался к морю, и окунувшись, сидел один на пустынном еще пляже, вглядываясь вдаль.

«Вы знакомы? — спросил меня в первый день, представляя молодого человека с необыкновенно живыми глазами и темнорыжей бородой, — это гроссмейстер Лев Псахис. Лева у нас вегетарианец. Впрочем, живя в Красноярске, не так и трудно быть вегетарианцем, если вы, Геннадий Борисович, понимаете, что я имею в виду...»

На шансы ветерана в борьбе за первенство мира «наверху» смотрели скептически. Перед полуфинальным матчем с Золтаном Рибли он отправился на прием к председателю Спорткомитета Марату Грамову.

«В вашем возрасте, Василий Васильевич, — без обиняков сказал высокий чиновник, — надо не за мировое первенство бороться, а думать о кое-чем другом...»

Несмотря на годы, у него сохранялось еще честолюбие, энергия и хладнокровие, необходимые для побед. Признавался, что «лет в пятнадцать-шестнадцать играл так же, как играю сейчас» и верил, что удастся победить Рибли. Венгерского гроссмейстера он разгромил. Верил, что ему предназначено выйти на Карпова и снова сражаться за чемпионский титул, но уступил в финальном матче Каспарову.

Сказал: «Когда за звание чемпиона мира борешься, надо постоянно быть готовым к военным действиям. Постоянно. А когда я чемпион-

ское звание в 57-м году завоевал, появилось чувство, будто против меня весь остальной мир восстал. Я – против остального мира. Не способствовало это ни спокойной жизни, ни комфортному состоянию души. Может быть, поэтому матч-реванш Ботвиннику проиграл, а не только потому, что болел во время матча воспалением легких. А может, потому и болел, что дискомфорт внутренний чувствовал...»

Цену себе знал, всегда чувствовал себя в одном ряду с великими. Однажды на гроссмейстерском собрании еще в советские времена, когда его стали попрекать частыми зарубежными поездками, сказал: «Что-то я не припомню, чтобы Капабланка просил у кого-нибудь разрешение играть в заграничных турнирах...»

Чемпионской ментальностью обладал с юных лет. Верил в себя, в судьбу, в собственное предназначение. Когда в 1935 году Алехин проиграл матч на мировое первенство Эйве, Смыслову было четырнадцать. Школьный товарищ спросил его: «Вася, хотел бы ты быть Алехиным?» «Побежденным – нет!» – ответил подросток.

Однажды сказал скептически: «Дважды кряду победить в турнире претендентов? Пожалуй, ему это не удастся...»

«А вы-то сами, Василий Васильевич? Вы-то?»

«Так то ж я!»

1998. «Знаете, В.В., мне тут книгу прислали о знаменитых шахматистах-евреях, в Израиле изданную. Там и вы помянуты...»

Засмеялся: «Ну это они мне польстили так, Г., просто польстили. Помню, говорили что-то об этом... Но нет, не думаю...» И снова: «Да, польстили мне, однако...»

Через несколько лет этот вопрос всплыл снова. «...Мама еврейка была?» Долгая пауза. «Да нет, пожалуй, не была. Хотя Рохлин и говорил что-то об этом, да и другие. Не знаю, не знаю... Нет, не думаю все же, что была... Конечно, ежели вглубь идти, все что угодно можно обнаружить. Да и то скорее по другой линии, по отцовской. Мне тут из Петербурга привезли диплом отца об окончании Технологического института. Так оказывается, был мой батюшка Иосифович, а не Осипович. Отец мой в 1943 году умер, а матушка пережила его почти на сорок лет, она с моим старшим братом жила. Но знаете, если копать, так и до Ивана Грозного можно дойти...

Меня ведь как чемпиона всюду принимали с одинаковым почетом, хоть в Израиле, хоть в арабских странах. Я вообще на вопросы национальности очень спокойно смотрю. Вот звонили мне как-то из

Еврейской Энциклопедии, составляли они список известных евреев. Тот же вопрос задали. Так знаете, Г., я им так же и ответил: был вроде кто-то, но точно сказать не могу... А те: если вы сами точно не знаете, то не можем включить вас в список. Так что мне, в отличие от Михаила Моисеевича, здесь гордиться особо нечем. Но знаете, Г., меня это и не занимало никогда...»

Оставим в покое и мы национальность седьмого чемпиона мира. Не в этом дело. И не в том, что Борис Васильевич Спасский говорил порой при совместном анализе — ах, Василéвич, умная еврейская голова. И не в том, что в последние годы выглядел он как библейский пророк, сошедший с картины Рембрандта.

Россия, его Россия была для него единственной родиной, и был он глубоко русским человеком. Латинская пословица «Ubi bene ibi patria» и ее русский эквивалент — «Где кисель, там и сел» — не о нем.

Говорил: «Перед поездкой за границу волнуешься, живешь этим, дни считаешь, а окажешься где-нибудь, так уже через недельку домой хочется, на природу, рыбку половить... А что Борис Васильевич давеча сказал о двух пушках, у меня на даче стоящих и в сторону Кремля нацеленных, то вы сами, Г., знаете — дряни у нас немало разнообразной, но как там у поэта сказано...» Снял очки, протер стекла: «И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне всё б хотелось почивать».

Даже в советское время избегал произносить имя Ленина, называя того «батенька», а Ленинград всегда называл Петербургом. После того, как с большим вниманием изучил какую-то книжку издательства «Посев», стал говорит о мавзолее, как о точной копии храма Сатаны в Пергаме. В последние годы называл Ленина «антихристом», мумию которого давно пора убрать с Красной площади.

В 1977 году играли вместе в Бразилии. Гуляя по Сан Пауло, частенько доходили до магазина русской книги, но внутрь Смыслов заходить побаивался — не ровен час кто увидит. Пока я рылся в книгах, запрещенных в Советском Союзе, ожидал меня на скамейке в скверике.

Перед выходным днем дал ему солженицынский «Архипелаг Гулаг». Утром сидел смурной в лобби гостиницы, ожидая работников торгового представительства, чтобы вместе отправиться в какой-то магазин за дешевой кожаной продукцией.

«Ой, Г., что вы со мной наделали... Я до пяти не спал, все читал, читал. Вспомнил то время... Верно, все верно описывает Солженицын. Отец ведь мой тоже Технологический институт еще в Петербурге

окончил. И сокурсников его в тридцатых годах арестовывали в Москве и в Питере. Он меня старался оберегать от всего, но я уже не маленький был, пусть всего и не понимал, но кое о чем догадывался...» И закрывая глаза, прикладывал руки ко лбу.

«Вот они... Идут... Идут, злодеи», — Смыслов уже заметил входящих через дверь-вертушку похожих друг на друга людей среднего возраста с короткими прическами. «Здравствуйтесь, здравствуйтесь, — поднялся им навстречу В.В. — Рад вас видеть! — А где же Никанор Иванович? Не получилось? Обида какая...»

На Олимпиаде 1978 года в Буэнос-Айресе назревала сенсация: команда Советского Союза могла остаться без золотых медалей. Венгерская сборная опережала команду СССР перед последним туром, но играла с сильной Югославией, в то время как советские гроссмейстеры встречались с голландцами. Капитаном команды СССР на той Олимпиаде был Смыслов. Улыбаясь чему-то своему, медленными шажками, как корабль пустыни, он неторопливо курсировал между столиками.

Я играл на второй доске с Львом Полугаевским. Уклонившись от ничьей в дебюте, Полугаевский попал в пассивное положение и заметно нервничал. «Не смей, Г., — едва заметно улыбался В.В., когда мы сталкивались на игровой площадке, — Г. — не смей!».

Несколько ходов спустя Полугаевский осуществил высвобождающий прорыв и предложил ничью. Я подошел к Смыслову: «Тут, В.В., Лева мне ничью предложил, наш капитан куда-то запропастился, не знаю, право, что и делать...»

«Не смей, Г., не смей! Идите и соглашайтесь на ничью, вы на Леву посмотрите, на нем лица нет...»

В 1979 году Лев Альбурт попросил политическое убежище в Западной Германии. «Будем говорить, что его похитили...» — давал нервные инструкции руководитель делегации членам команды «Буревестник». «Похищали раньше девушек...» — невозмутимо комментировал его слова Василий Васильевич.

По возвращении в Москву всю команду прямо с трапа самолета отвезли в здание ВЦСПС, где их уже ждали чиновники, среди которых нетрудно было заметить молодых людей, особенно внимательно слушавших выступавших.

Первым предоставили слово Смыслову. Повисла долгая пауза. По словам очевидцев, Василий Васильевич держал ее по меньшей мере минуту. Наконец он произнес: «Лев Осипович Альбурт был человек

не моей генерации...» После чего замолк снова. «Что же еще можно добавить?» — спросил он скорее самого себя. И продолжал: «Тип демонический. Можно ожидать любых поступков...»

В Монпелье в 1985 году во время кандидатского турнира встречались за несколько кварталов от гостиницы: уж больно много приехало на этот раз с советскими гроссмейстерами «сопровождающих». В последний день за завтраком он шепнул: через полчаса на том же месте?

«Г., я для вас подарок захватил. Все вы меня книгами баловали, а теперь я ответный ход сделаю: это мне местный житель один русский в начале турнира презентовал. Никак не могу везти с собой в Москву...» Он вынул из-за пазухи и вручил мне книгу, на обложке которой я прочел: Данте Алигиери «Божественная комедия. Ад». Перевод Бориса Зайцева».

«Позвольте В.В., Данте был, конечно, диссидент и его изгнали из отечества, но дело было почитай как шесть веков назад, можно сказать, что за давностью...»

«Вы все шутки шутите, Геннадий Борисович, а посмотрите лучше, что там внизу написано. Посмотрите, посмотрите...»

«Утса-Press написано. Название издательства, ну и что?..»

«Вам — ну и что, а ежели таможенник спросит: а где вы книжечку эту купили? Что мне говорить? Вот то-то и оно. Так что, получайте в качестве презента Данте и не сопротивляйтесь. Пусть у вас дома в Амстердаме на полке стоит».

«Спасибо, В.В., у меня, признаюсь, Данте нет. Когда-то пытался осилить и не пошло, дело было, правда, в молодые годы. А вот недавно прочел, что «Ад» — гениальный, а «Чистилище» и «Рай» — много слабее. И объяснение: человек по природе своей порочен, потому и удался так «Ад» Данте. Что скажете?»

«Ох, Г., у нас через час автобус в аэропорт и — в Москву, а вы мне такие вопросы задаете. Давайте прощаться лучше, да возвращайтесь в гостиницу первый, а я уж один добреду, береженого Бог бережет...»

Приехал на турнир ИБМ в Амстердам в 1981 году. «А где же Саша Чернин?» — спросил у него невинно. — «Он ведь в прошлом году вторую группу выиграл и в главном турнире должен играть».

«Чернин? Да у него и душа, наверное, черная, — с чувством отвечал Смыслов. — Нет, не говорите, Г., фамилия человеку зря не дается. Не дается! Я вот такой случай помню. После Олимпиады в Тель-Авиве в 64-м году была у нас экскурсия в Иерусалим. Показывал нам все отец Гермоген, импозантный очень мужчина. Стоим мы, значит, в доме,

где Последняя Вечера была, и объясняет нам все отец Гермоген, кто Его предал, как и что. “А как же он все заранее знал? — спрашивает человек, нас, шахматистов, сопровождавший. — Ему что, сигнал кто дал?” А отец Гермоген подобрался весь и громко так отвечает: “Он все знал! Он Божьим сыном был!” А фамилия нашего сопровождающего из соответствующих органов была Приставка. Так что, Г., видите, фамилия человеку зря не дается...»

«Да о чем вы, В.В.? При чем здесь фамилия? Вы ведь даже не видели Чернина, он же совсем молодой человек, он же не виноват, что вам в турнире захотелось сыграть...» «Нет, Г., сказал я, когда узнал о турнире ИБМ. Не бывать этому. Сказал: снами Бог и Крестная сила, и пошел к Сергею Павловичу!» (С.П. Павлов — председатель Спорткомитета СССР — Г.С.) Когда я качал головой, брал под руку, успокаивал: «Вы, Г., еще сами молодой человек. У вас, Г., фактически, еще вся жизнь впереди...»

«Хороший ведь человек Василий Васильевич?» — задал мне риторический вопрос гроссмейстер, видевший наши ежедневные прогулки. И сам ответил на него: «Хороший, конечно. Но ты ведь знаешь В.В. только заграничного разлива...» И начал объяснять, что есть другой Смыслов, не упускающий своей выгоды, вспоминал случаи, когда он отправлялся на заграничный турнир вместо кого-то, имевшего больше прав на эту поездку. Что здесь сказать. Наверное, молодой гроссмейстер был тоже по-своему прав. Наверное. Отвечу герценовским: правда мне мать, но и Смыслов мне Смыслов!

Лето 1987 года. Межзональный турнир в югославской Суботице. Каждое утро, когда все еще спали, мы встречались в купальне на озере. Смыслов приходил еще раньше меня, и по виду его можно было заметить, что он уже выкупался: белое веснушчатое тело, покрытое красным загаром, было облеплено зелеными нитями так, что он походил на водяного.

«Не беспокойтесь, Г., вода замечательная, а что водоросли, так это только об экологии хорошей свидетельствует», — заверял меня Василий Васильевич, когда я подозрительно косился в его сторону. Спрашивал с невинным видом: «Вы, Г., после завтрака что делаете?»

Делать мне было особенно нечего: дебютный репертуар Льва Альбурта, секундантом которого я был, представлял из себя защиту Алехина да Волжский гамбит, а сам Василий Васильевич к партиям не готовился вовсе. После завтрака мы гуляли по парку, беседуя обо всем на

свете, но главным образом о Советском Союзе: летом 1987 года страна уже мало походила на ту, в которой Смыслов прожил всю жизнь. В конце прогулки В.В. предлагал зайти «хотя бы на минутку» в местный универмаг.

«В какой универмаг, В.В.? Вы же неделю назад в Париже были, а через месяц в Швейцарию едете, ну зачем вам универмаг в Суботице, он и от московского-то не отличается», — слабо сопротивлялся я.

«А вот здесь ты и ошибаешься», — со знанием дела говорил Владимир Багиров, пару раз разделявший с нами прогулочную процедуру. Багиров был секундантом Таля и ждал полудня, чтобы разбудить своего подопечного и начать подготовку к партии.

1994. Смыслов прилетел в Амстердам играть в доннеровском Мемориале. Встретил его в аэропорту. Багажа нет, в руках небольшая сумка.

«А что мне нужно? Все в руках Божьих...» В машине: «Я вот, Г., недавно пословицу услышал: духом к небу парит, а ножками в аду перебирает. И подумал: не обо мне ли пословица сия? А позавчера был в первый раз в жизни на исповеди. Батюшка спрашивает: «Грешен?»

«Как, отвечаю, не грешен. Грешен, конечно».

«А в чем главный грех видите?» «Говорю:»

«Так прямо и сказал?»

«Так и сказал, это же батюшка. Мое дело в грехах каяться, а его — эти грехи отпускать. Вам говорю, Г., доверительно, потому что имею к вам расположение...»

Ужинали часто вместе, а однажды солнечным вечером отправились прямо из турнирного зала пешком ко мне домой. «Я давеча на даче был, так там девочка, малая совсем, листья граблями собирала... Я давай ее хвалить, а она — так я ж большая, мне уже пять лет. И граблями так ловко, ловко... А Надежда Андреевна говорит — ты не то, что листья в кучу собрать, ты и костер разжечь не можешь. А на даче хорошо у нас, *très jolie*, как Альберик О'Келли говорил. *Très, très jolie*... Да, Альберик... А я ведь в Москве живу как барсук. Знаете, Г., барсук норку роет, в ней ход есть и еще один запасной — поднорок. На всякий случай, если кто нежеланный пожалует... Так вот и у меня дача в Раздорах». Вдруг ушел взглядом куда-то: «Я вот все думаю, у меня же сегодня с Рее пешка лишняя была, должно быть я выигрыш где-то упустил, а если бы я слона на b2 расположил, на большой диагонали? Помните позицию?..»

Уже на подходе к дому остановился и, поправляя очки характерным жестом, посмотрел со значением: «Скажу вам, Г., один рецепт.

Но применять его следует в случае тяжелой болезни, если врачи объявили, что спасенья уже нет. Рецепт этот индийский, проверенный, многие поколения...»

«Да не тяните, В.В., что за рецепт такой, рассказывайте уже...» Пристально глядя мне в глаза, торжественно произнес: «Мочу надо пить!»

«Как мочу?..»

«А вот так! Собственную! И четырнадцать дней кряду, потому что ежели меньше, эффекта не будет. Организм не перестроится и прока никакого не будет. Я в журнале статью читал и там говорится...»

Вера к напечатанному была абсолютной. Вера и постоянный контроль: что не может быть вынесено на бумагу. «Хорошо вы, Г., написали о Мише Тале, все правильно. Но уж больно откровенно, как-то по-западному. Пусть все и было так, но даже не знаю... слишком уж по-европейски».

Когда спросил о Тартаковере, которого Смыслов знал лично, стал говорить что-то об остроумии, мяться. Наконец собрался с духом: «Даже не знаю, стоит ли рассказывать... Может быть, не для печати, Г., но, знаете, регулярно в казино ходил Савелий Григорьевич, особенно если приз какой получал, и все там спускал. Но, может, не стоит писать этого, Г., какой это пример для молодых...»

Дома у меня расслабился, выпил белого вина, спрашивал, сколько калорий имеет каждое блюдо — калорийный подсчет в моде был тогда, — а в конце обеда вздохнул печально: «Я, Г., наверное, только за ужином калорий 1500 навернул, а то и больше, хотя мне салата и фруктов за глаза и за уши хватило бы. А вы — для будущего — запишите рецепт супа вегетарианского. Надежда Андреевна его божественно готовит. Записываете? Во-первых, цветная капуста необходима, во-вторых... и сметаны, сметаны не забудьте, без сметаны, Г., совсем другой вкус, знаете...»

Вышли в сад. «А тюльпаны ваши у нас на даче прижились, и лиловые, и красные, но мне белые особенно нравятся... А знаете, я все думаю, неужели не было выигрыша сегодня с Рее? У вас шахматы дома есть?..»

Во время анализа, разминая пальцы, спрашивал: «Всё посчитали, Гена? А под атаку попасть не боитесь? Пешка лишняя, конечно, но ведь и мат получить можно...»

«Вы, В.В., завтра с Бронштейном играете, помните первую партию с ним?»

«С Бронштейном? Помню, прислал мне в 40-м году Юдович партии двух украинских шахматистов, выполнивших нормативы мастерс-

кие, и заключение дать попросил — достойны ли звания? А мне самому девятнадцать только исполнилось, хоть и числился я членом квалификационной комиссии: ведь в то время всех обязывали общественную работу вести. Просмотрел партии и резюме дал: оба достойны! Было это ровно 55 лет назад, а фамилии их были — Болеславский и Бронштейн. Вот так-то!»

5.5.1995. Услышав сообщение о смерти Ботвинника, позвонил ему на дачу. «Да, Г., вот такие дела у нас. Все казалось — вечный. Что переживет всех нас Михаил Моисеевич, царствие ему небесное... Только не верил он ни в какие царствия, думал, что машина будет всем править... Так что я стал теперь, Г., как это говорится — правофланговый? левофланговый? Как вы давеча Тютчева поминали? — Дни сочтены, утрат не перечесать... Так вот и я на роковой стою очереди».

1996. «Пожелайте, Г., мне успеха сегодня: выхожу на большую сцену! Нет, до Большого театра не дошел, но в Большом зале Консерватории пою сегодня вечером. Что? Да весь мой репертуар, а в конце — с хором — Жили двенадцать разбойников, помните пластинку в Хилверсуме записанную?..»

1997. ЦШК на Гоголевском. Он очень возбужден: только что вышел новый диск, дарит его. Говорит о музыке, о карме, о предназначении, о планах на будущее: «Вы знаете, Г., Страдивари наиболее плодотворно работал в период с 72-х до 93-х лет. Так что у меня все еще впереди!»

1997. Комментировал партии турнира в Хоговейне, где играл Смыслов. Сыграл он неудачно. На следующий день вместе — машиной в аэропорт Схипхолл. Рядом Надежда Андреевна.

«Глаза, Г., совсем отказали. Не видел ничего, ну совсем ничего. Думал даже отказаться от турнира, а неудобно: все-таки только четыре участника. Спрашивать у судей, сколько ходов сделано, — нельзя. Только после сорока говорили — контроль сделан. Даже записывать по-настоящему не мог, как-то поднес поближе к глазам собственный бланк, так сам ничего не мог разобрать, каракули какие-то... А вы заметили, Г., как я на закрытии пел и верхнее «ля» взял, уже в тенора перехожу... Выпустил я диск недавно фактически на свои деньги — получил от спонсоров только пять тысяч долларов, пришлось свои восемь докладывать...»

Аэропорт. На двоих один чемодан с оторванной ручкой, вместо нее скрученная вдвое бельевая веревка. По виду — куплен чемодан еще в 53-м году в Швейцарии. «Зато ни с каким другим не перепутаешь!» Попрощались уже, но вдруг отошел в сторону и с истомой душевной

на лице: «Вспомнил снова, какую я партию вчера ван Вели проиграл... Сначала преимущество очевидное было, потом равно, а потом... — нет, ужасно, ужасно. Прямо наваждение какое-то...» — и, качая головой, пошел к паспортному контролю.

Уже в глубоко послеперестроечное время вышли однажды из Клуба на Гоголевском. Он оглянулся по сторонам, мы были вдвоем.

«Хочу с вами посоветоваться, Г. Имею приглашение...» — называется страна, экзотическая, далекая, с разницей немалой во времени и температуре. Условия — в высшей степени скромные. «Что вы думаете?» «Странное приглашение, В.В., наверное, надо отказаться».

«Как отказаться? Так ведь приглашение! Да и заграничный турнир! Вы думаете, нужно больше просить?..»

Для маленького Васи Смылова, приходившего с отцом на московские турниры тридцатых годов, Ласкер и Капабланка были не только великими шахматистами, но и иностранцами, инопланетянами. Начиная с середины сороковых годов он сам стал регулярно ездить за границу. Что это значило тогда, может по-настоящему оценить только старшее поколение советских людей. Заполнение различных анкет, проверки на всех уровнях, характеристики, собеседования и инструктажи в райкомах, горкомах, а то и в ЦК партии. Бывало, на документах стояла подпись самого Сталина или людей из его ближайшего окружения. Хотя в последующие времена Советского Союза положение смягчилось, все равно — наличие «чистой анкеты», обязательное прохождение всевозможных инстанций, волнение едва ли не до последнего дня, до посадки в самолет, напряжение во время самой поездки, — все осталось прежним.

Эти поездки означали, помимо престижности, материальные блага, получение валюты или ее эквивалента, делавшее обладателя ее богатым по меркам Советского Союза человеком. Выезд на международный турнир был событием для любого советского гроссмейстера и значил совсем не то же самое, что для его западноевропейского коллеги. Поэтому едва ли не до самого конца он с трепетом относился к любой поездке за рубеж. Заграница!

Пение было его страстью. В молодости Смыслов занимался с профессором Злобиным, постоянно навещая того в Петербурге. Задумывался и о профессиональной карьере. В 1951 году прослушивался в Большом театре, прошел первый тур, но срезался во втором... Думал и о Мариинском (тогда Кировском). Художественный руководитель и дирижер театра Борис Хайкин, выслушав Смылова, отметил его го-

лос, технику и согласился принять в труппу при условии, что на афише «Пиковой дамы» будет написано: «В роли Елецкого — гроссмейстер Василий Смыслов».

Любимым певцом был Карузо, и он часто рассказывал, как великий итальянец явился к нему во сне и дал важные указания по певческой технике. Зная, как доставить ему удовольствие, подарил книгу о его любимце. Жена читала книгу вслух, а открытку, которую послал ему из Сорренто, где умер Карузо, видел однажды у него на даче.

В Тилбурге за завтраком к нашему столу в ресторане подсел Эрик Лоброн. Представив их, сказал, что немецкий гроссмейстер тоже увлекается пением. Оживился В.В. «А как вы это делаете?»

«Обычно я пою по утрам под душем...»

«Нет, я спрашиваю, как диафрагма у вас при этом расположена?.. Вы, Г., переведите ему, что все дело в дыхании, в дыхании. Поэтому расположение диафрагмы очень важно. Я, например, тоже раньше диафрагму неверно держал. Она должна вся работать, а не только часть ее. Мне Карузо все рассказал, пусть симпатичный молодой человек и не сомневается...» Смыслов встал и для подтверждения своих слов в утреннем ресторанном зале взял несколько нот.

Любил поговорить о современных исполнителях: «Я вот давеча концерт Хворостовского по телевизору слушал. Общее впечатление: голос, конечно, сильный, но недостает ему эмоциональности. В конце, правда, распелся, когда песни неаполитанские пел, а вот когда русские народные — суховато выходило. Технически гладко, но какие-то звуки нечетки, у Шаляпина-то ведь как было? Все звуки выпевались. И как! И учитель мой, Злобин, царствие ему небесное, тоже меня всегда учил: требуется отточенность звуков, особенно гласных: о, е, а, у... Хотя, слов нет, певец отличный...»

1998. Он только что вернулся в Москву из Вены, где играл в турнире «сильнейшие женщины — сеньоры».

«...Как было в Вене, В.В.? В Вене три девицы — вени, види, вици?» «Какое там вици, Г., я теперь по види больше. А что вици касается, то девицы сами нам чуть вици не устроили. Если бы не Виктор Львович, гигантский плюс набравший, вообще проиграли бы сеньоры. А главная неудача музыкантов постигла: Портиш и я — по минус два набрали, а Тайманов вообще минус семь. Мы с Портишем, значит, всё пропели, а Тайманов, получается, не на те педали нажимал.

Что? В чемпионате страны отказываетесь играть? Ни в коем случае, Г., играть нужно. Побейте пижончиков. На меня посмотрите: полу-

слепой гроссмейстер, а играет. Но случается, конечно, как сейчас: и меч его выпал из дрогнувших рук, или что-то в этом роде. Помните, как Яков Герасимович Рохлин книгу свою назвал? Мыслить и побеждать. А то — меня возьмите в качестве консультанта. Консультанта с копытом? Вот именно! Вместе что-нибудь напридумаем. Но если уж совсем не вмоготу, поблагодарите за высокую честь, скажите, что в следующем году сыграете. А так — ведь в другой раз не пригласят... Хотите практическую игру окончательно оставить? Нет, делать этого не следует. Хоть время от времени, но играйте. Ведь самое главное — что? Найти место шахматам в жизни и честно определить это место для себя — вот и все...»

1999. Турнир памяти Петросяна. Москва. Гостиница «Космос». В казино гостиницы поздно вечером разыгрывается машина. Вглядываясь почти ничего не видящими глазами, терпеливо ждет, что именно его номер выиграет. Всякий раз после появления цифр на табло, смеется: опять мимо денег проехали! Но видно, что действительно надеялся и верил крепко.

1.1. 2000. Трубку взяла Надежда Андреевна: «...вышел вчера В.В., как всегда, к гаражу, костей снести: у нас пес во дворе живет, вот В.В. его и прикармливает. Возвращается через четверть часа, а я ему говорю — Ельцин в отставку ушел! Смеется Смыслов — не успеешь на минутку выйти — президенты от престола отрекаются!

2001. Торжествующе: «Составил 64 этюда! Приближаюсь к сакраментальной цифре 66. Хотите продиктую? Вы говорите, что Тимману мои этюды понравились, что селезневские напомнили? Яну привет, конечно, передавайте, только этюды мои не похожи ни на селезневские, ни на григорьевские. Смысловские этюды! Какой темы последний? А кто его знает. Моя тема. Смысловская! Никогда еще такой темы не было... Вы, Г., узнали, хотят ли издать книжечку моих этюдов в *New in Chess*? И сколько предлагают? Всего-то? Пусть к этой сумме еще нулек пририсуют, а то и два, я ведь не кто-нибудь, а седьмой чемпион мира! ... А спонсоры? У них что там, спонсоров нет?..»

2001. Амстердам. Турнир «сеньоры против женщин». Зашел к нему вечером, он только что выиграл у Алисы Галямовой. «Г., вы помните анекдот о племяннике, получившем приглашение от ослепшего дяди в Америке приехать и перенять бизнес. Идет в КГБ. Там советуют написать письмо: дело продать, а деньги переслать в СССР. Получают ответ от дяди — я ослеп, но с ума еще не сошел... Так и со мной: девицы полагают, что я ничего не соображаю. Может, я ослеп, но с ума еще

не сошел. Они думают, что ежели я Ксюше проиграл, то все у меня выигрывать будут...» Ласковым именем Ксюша он называл китайскую шахматистку Кси-Юн.

Жили и играли в гостинице «Краснапольский» на площади Дам в самом центре Амстердама. Приболели с женой оба, но и здоровые в ресторан не спускались, предпочитая закупать провизию в близлежащем магазине, и, пользуясь нагревателем, делать кофе или чай в гостиничном номере. Печенье собственноручной выпечки Надежды Андреевны всегда привозили с собой. Потчевал ими в лондонской гостинице во время матча с Рибли: «Попробуйте песочного, Г. Песочные Надюше особенно удались... Вы таких во всем Лондоне не найдете. Попробуйте, попробуйте... Какие вам еще тирамису у итальянцев...»

В Амстердаме сопровождал их в походе за провизией. Вышли из гостиницы. На площади людское столпотворение. Орды туристов: языки — всевозможные, запахи — амстердамские. Услышал музыку: «Давайте подойдем...» Подошли. Мужчина в шотландской юбочке, нажимая ногами на трещотки и дудя во всевозможные дудочки, один создает подобие оркестра. Подошел ближе. Еще ближе. Вгляделся тому в лицо почти невидящими глазами. Опустил взгляд вниз — юбочка. Перекрестился размашисто: «Господи, Твоя воля...» Привыкший ко всему дудочник даже не шелохнулся. «У нас, Г., то же самое: как ни включишь телевизор, пляски какие-то африканские, да завывают при этом так... »

В магазине: «...эту баночку “Нескафе” мы в гостинице употребим, а эту — с собой возьмем. Еще Михаил Моисеевич говорил, что не следует покупать “Нескафе”, в Москве расфасованное. Если вы понимаете, конечно, что я имею в виду, Геннадий Борисович... Помните, как Ноздрев велел принести особенную бутылочку, которая была одновременно и бургоньоном и шампаньоном вместе. Да пожалуй, еще селедочки возьмем да сырца голландского. Сырец, который вы в последний раз привозили, не очень у нас задержался...»

2002. В.В. позвонил сам (случается крайне редко) на следующий день после длительного вчерашнего телефонного разговора. С места в карьер: «Исправление этюда, Г.! Ошибочка во вчерашнем вкралась. Конь, Г., должен стоять на f8 — иначе не решается этюд. А то напечатают с конем на f4 — стыда ведь не оберешься: Смыслов глупости какие-то придумывает». Я (колеблясь): «А вот вчера, после того как мы поговорили, В.В., увидел сообщение: Багиров умер...»

«Володя? Ну, царствие ему небесное! Шестьдесят три? Только? Молодой еще человек... Играл он Алехина и сильно играл, но однажды удалось мне его обмануть... Кстати, если вы думаете, что и при коне на f8 побочное решение есть, то это не так, ферзь с b1 на e4 выскакивает...»

Как и у всех, достигших преклонного возраста, к горечи сообщения о смерти у него примешивалось чувство бегуна на длинные дистанции, продолжающего бег несмотря ни на что. Стайер не должен поддаваться эмоциям ни по поводу сошедших с дистанции сверстников, которых уже почти и не осталось, ни по поводу людей много моложе себя самого. Давно перейдя полосу, где «снаряды рвутся все ближе», Смыслов тоже инстинктивно отстранялся от этой эмоциональной нагрузки: известный защитный рефлекс организма и обязательное условие долгого пребывания на земле.

На следующий день получил e-мейл от Сергея Розенберга, проверившего этюд В.В. на компьютере: этюд не исправлять, оставить первоначальную редакцию, паника была ложной...

2003. Сказал ему, что вчера была демонстрация в Москве, со здания Думы сорвали российский флаг, в течение часа развевался старый советский, с серпом и молотом.

«Да что вы говорите, Г., флаг сорвали?» И без запинки с выражением:

Есть у нас красный флаг

Он на палке белой.

И его понесет

Тот, кто самый смелый.

Барабанщиком пойдет

Тот, кто самый ловкий.

Он нам четко отобьет

Счет для маршировки.

Вы еще молодой человек, Г., вы таких стихов не знаете, а у меня крепко в памяти сидит, как запало лет 75 тому, так и сидит...»

2004. Москва. «Вы сегодня, Г., к нам на обед заглянете?»

В полдень у них дома в большом высотном доме на Кудринской площади, которую В.В. называет по старой памяти площадью Восстания. Мебель пятидесятых годов, на обеденном столе ералаш: ваза с фруктами, настольная лампа («это та, под которой мы с Левенфишем книгу писали»), к лампе прислонена иконка, совсем простенькая, от-

крыточка с изображением какого-то святого, стопки только что вышедшей книжки его, тарелки, тарелочки, открытая коробка конфет. Рядом – шахматный столик с какой-то эндшпильной позицией. Его стул с наброшенной поверх спинки бечевкой с белыми шариками: «Очень, очень, говорят, Г., для спины хорошо. Ты сидишь, а спина массируется тем временем сама собой... У нас квартира захламленная, полный хаос, ничего не найдешь. Все в чемоданах, столько этих чемоданов. И все с фотографиями да с программками, грамотами, посланиями, письмами. Ума не приложу, что и делать. Надо бы разобраться, да все руки не доходят... Фишер вот не любил громоздкие кубки, только место занимают, говорил. Он больше деньги предпочитал...

Да не приставай к человеку, Надежда Андреевна. Если захочет, сам возьмет, видишь, у него еще тарелка полна. Ах, Надежда, да что же ты голову Г. морочишь своими рассказами. Ты у меня прямо как та жена у Чехова, которую муж упрекает в отсутствии логики: твоя речь напоминает разговор дворовых мальчишек: А у нас блины ноне. А к нам солдат пришел. Ах, Надежда, Надежда. Знаете, Г., вчера привезли нас в гостиницу «Космос» на презентацию. Морозно, скользко, шофер дай мне помогать, а я ему: «Надежду, Надежду, спасайте...» Да, не зря говорят – надежда умирает последней». Обнимает жену. Та смотрит на него влюбленными глазами: ах, Смыслов, Смыслов...

«..вот в прошлом году митрополит Питирим умер, я его вчера во сне видел, мы дружны были очень. Одет он был чин по чину, все как полагается, но босой. Интересно, что бы это значило? А он мне говорит: только что с Вергилием разговаривал... Занятно!

Был я как-то у митрополита в монастыре, подвел он меня к иконам, благословил, потом попросил спеть что-нибудь. Я ему про двенадцать разбойников и атамана Кудеяра спел. Смеялся: оказывается, когда он в Духовной Академии преподавал, имел репутацию придирчивого и строгого крайне и частенько «неуд» ставил ученикам. Однажды пришел в аудиторию, а на доске огромными буквами выписано – КУДЕЯР. Смеялся очень отец Питирим, царствие ему небесное! Очень видный был мужчина, дамы по нему прямо с ума сходили. У нас где-то и фотография его есть, да, наверное, не найти уж...»

Садимся за шахматы. «Этот столик мне сосед по этажу подарил, дипломат бывший, он к нам заходил иногда, а теперь ему уже никакой столик не нужен...»

Часа в три начали прощаться. Меня берет под локоть, говорит жене: «Хочу, Надюша, с Г. выйти, сказать ему кое-то...» Сердце сжалось: вот

оно... В холл вышли просторный. Остановились у дверей соседней квартиры: «Геннадий Борисович, хочу у вас совета просить...» Понимаю важность момента, молчу. «Вот соседи – видите – дверь входную темно-коричневой краской выкрасили, что вы думаете, может и нам то же сделать, или оставить все как было? Что думаете?..»

2004. «...как я живу? Ну как живу, Г., – в противоборстве со временем и немощами. А новости у нас такие, что гостиницу «Москва» снесли, и теперь там вообще хотят пустое пространство оставить. Вид, говорят, оттуда замечательный открывается. А я ведь помню, когда на этом месте трамвай ходил, и в Охотном ряду товары всякие продавали. Было это – в конце двадцатых годов, что и говорить, далекие времена.

А какие шахматные новости? Фишера из японского заточения уже выпустили? А что с матчем на мировое первенство? Каспаров, вы говорите, гарантий потребовал у Дубая. Гарантий? А какие могут быть гарантии – мне еще Найдорф говорил в свое время: ну какие Буэнос-Айрес гарантии может дать, ну а если и даст их, что с того...»

2004. «...Вы знаете, Г., я всех их сейчас вспоминаю: Романовского, Лисицына, Григорьева... Но истинно близок был я с Григорием Яковлевичем Левенфишем, царствие ему небесное! Они ведь не только в шахматы играли, но и пером владели, да как! И впечатление у меня, что жил я в золотой век шахмат. Ведь за шахматными партиями тогда вся страна следила, пари заключали на исход отдельного состязания, даже на ходы отдельные... Вот вы давеча сказали, что немало гроссмейстеров сегодняшних шахматы недолюбливают, а играют потому, что ничего другого не умеют, как начали играть когда-то, так и играют. Скажу вам, что наши предки шахматные тоже могли испытывать сомнения: какой план избрать, стоит ли пешка инициативы, о блокаде спорили, но шахматы любили. Потому что относились к ним как к творчеству...

Другая игра? Компьютерные шахматы? Я вам так о компьютере скажу: гениальное изобретение человечества компьютер, но есть в нем, Г., положительные и отрицательные свойства. Компьютеры принесли много аналитической ясности, но и уничтожили дух игры, столкновение характеров. Ведь как интересно было: люди с разными характерами, стилями. Ботвинник – такой, Таль – другой, Геллер – третий...

Ведь человек для составления задачи или этюда массу времени и энергии тратит, о вдохновении уже и не говорю: «капризно очень вдохновенье». Помните у Майкова: «Гармония стиха божественные тайны

не думай разгадать по книгам мудрецов». А компьютер задачи как семечки щелкает: раз, два — и готово. Вот задачи Ллойда, например, так он их за пару минут решает простым перебором ходов. Я все жду, когда один вариант на другой найдет, всё заикнется, захлебнется компьютеры в своей информации, и все их трансформаторы перегорят. Вот помню еще, зашел в Клуб к Михаилу Моисеевичу, в лабораторию его. Ведь Ботвинник тоже стремился компьютер создать, чтобы сокрушить человека. Я пожелал ему успеха, но только уже после того, как меня не будет...

А знаете, кто первый компьютер придумал? Джонатан Свифт! Помните, как у него алфавит на валиках прокручивали и записывали всю информацию? Они говорили еще, что все мысли таким образом перебрать могут. Печально, конечно... Перебор вариантов — это участь шахмат? Изобретение, может быть, и полезное, но и дьявольское, конечно. Сейчас читатели с компьютером опровергают каспаровские анализы. И еще больше будут опровергать... У Одоевского есть: кто-то человеку помог, и он не только от проблем своих избавился, но и получил дар видеть все, что делается в душе у другого. Как уж он обрадовался! А на деле-то, что вышло? Стал ему каждый человек виден как на ладони, все устройство, вся подноготная его. Стал он, так сказать, ясновидящим и ужаснулся. А девушки? Это они-то — гении чистой красоты?..

Вот Сережа Розенберг проверял мой эндшпиль с Лилиенталем из матч-турнира 1941 года с двумя конями против пешки. По Троицкому позиция моя проиграна, но я самые правильные ходы находил и ловко королем на единственное поле ускользал. Так что одобрил мою игру компьютер. А другую мою партию с Силади в 1960 году, где у меня лишняя пешка была, которую я благополучно в ферзи и провел, раскритиковал компьютер начисто: дает оценку позиции — мат в 34 хода, после моего хода — мат в 49 ходов, потом ничья, потом снова выигрыш... Без ошибок играет машина такие окончания. Так что должен покаяться на склоне лет моих чемпионских: думал, что хорошо играл, а машина глупая по-другому на эти вещи смотрит.

Я вот готовлю книгу — шестьдесят лучших партий, и вот знаете, просматривали сейчас партию с Савоном. И столько ошибок нашли с компьютером, прямо ошибка на ошибке. А Розенберг меня утешает: что ж вы хотите, что б партию совсем без ошибок сыграть? Так-то оно так, а я ту партию одной из моих лучших считал... Да-а, компьютер теперь кого хочешь за пояс заткнет. А вот комментировал я свой первый выигрыш у Петросяна. Написал, что если так, то так, «сжимая коль-

цо блокады со скорым выигрышем». А вот Кен Нит проверил все на компьютере и написал, что компьютер советует так и этак и не видно, как дальше кольцо блокады сжимается. Вот и пришлось написать, что если так, то этак и до выигрыша еще далеко...»

2004. «...вот составил миниатюру, пешечный эндшпиль, есть у вас под рукой карандаш? Ну это так, пустячок, а вот я над сотым этюдом сейчас бьюсь, все никак у меня не вытанцовывается. Хочется, чтоб было посложнее, да поизящнее. Сделал было, да дали компьютеру проверить. Так арифмометр чертов нашел дыру в одном месте. Единственное, что радует — компьютеру теперь подвластны позиции с шестью фигурами на доске, но с семью ему потруднее придется, потому что там 300 грузовиков внутренностей ему понадобится, число позиций возрастает ведь в геометрической прогрессии. Помните сказку о радже и зернышках пшеницы? Это с семью фигурами, а когда дело до всех фигур дойдет, может оказаться, что шахматы математическая задача, не более того. А там выяснится, что и жизнь человеческая тоже математическая задача, а ответ на нее знает только один Господь Бог...

Вот помню, Перваков Олег мне сказал: хорошо бы еще с десяток этюдов сочинить, до ста довести. Я подумал еще — да как же я их сочиню, когда и вдохновения нет и не вижу почти ничего. А вот Господь помог, и идеи прямо так и посыпались одна за другой. До ста число этюдов довел и дальше пошел...

Слышал от многих, что вы писательским даром обладаете, очень хвалили вашу последнюю книгу, говорили, что...» «Ну уж не знаю каким даром, а книгу я вам, В.В., еще в прошлом году подарил...»

«Действительно, Надин моя прочла пару рассказов, но теперь у нее самой проблемы с глазами, на днях должны катаракту вырезать... А я вам вот что скажу, Г., — вы все о шахматистах пишете, а вот написали бы, если есть к этому расположение, что-нибудь в другой сфере. Я слышал, одна американка, не писательница даже, написала что-то, а ей тут же миллион отвалили... Так и вы могли бы миллион заработать, так что, Г., дерзайте...»

«А к чему мне миллион, В.В.? Да и зачем дерзать, мне что, памятник рядом с Гоголем поставят?»

«Какой вы имеете в виду памятник, Г.? Тот, что на Гоголевском стоит, помпезный, или во дворе дома на Суворовском бульваре, если память не изменяет? Тот мне больше нравится, там Гоголь сидит со склоненной головой, в задумчивости. О жизни, значит, думает Нико-

лай Васильевич. Помните, Г., если мы уж Гоголя вспомнили, что сказал Николай I после премьеры «Ревизора»?

«Не помню. Кажется, понравился «Ревизор» царю».

«Понравился-то понравился, только посоветовал он Гоголю финал переделать: а то приезжает государственный чиновник — и все. А надо бы — посоветовал царь — показать после этого, что улучшение наступает. Николай Васильевич царя не послушался, исправлять ничего не стал, а совсем наоборот — за границу уехал».

2004. «Надежда Андреевна книгу мне вашу сейчас читает, недавно о Ботвиннике прочла. Хорошо вы о Михаиле Моисеевиче написали, проникновенно». Пытаюсь попасть ему в тон: «Бойко в общем написал...»

«Да нет, не бойко — проникновенно... Михаил Моисеевич был ведь в конце одинокий человек, на работу в Клуб на троллейбусе ездил, а то и пешком. Я у него спросил еще — не боитесь, Михаил Моисеевич? Ведь он почти ничего не видел... А он: да я здесь каждую ямочку в асфальте знаю, каждый бугорок. И всегда чаем угощал, если я в Клуб приходил, и бутербродами с хлебом бородинским, очень нравился ему бородинский...

Но коллеги его, математики, относились к идеям его очень скептически, поэтому он и менял их часто, сотрудников своих, да и идеи, честно говоря, были завиральные, как сейчас видно. Но Михаил Моисеевич, как известно, от принципов своих не отступал.

У нас на даче бывал, особенно любил пирожки с капустой, моя Надежда их божественно делает, да вы ж сами знаете... И я у него на даче бывал, однажды гостил дня четыре и несколько тренировочных партий сыграли. Три, кажется. Я без должной ответственности отнесся к игре, а Михаил Моисеевич выкладывался весь... Как закончили? Проиграл я одну партийку, а две другие ничьи были. На том и кончили. Понял, верно, М.М., что я дурака валяю.

Знаю, что и Геллер у него на даче бывал и тоже какие-то партии играл, но не выдержал, сбежал от голода. Ведь у Михаила Моисеевича как было — обед, ужин, все по расписанию, а Ефиму Петровичу мало было, он, грешным делом, поесть любил. Так по ночам сухари ел, а потом не выдержал. Это мне Оксана, жена его, рассказывала, но женщины, вы сами знаете, они любят преувеличение, так что не знаю, где здесь правда....

Однажды приехали к ним на дачу, дверь захлопнулась, а ключ внутри остался. Он стал жене выговаривать, что ж, Ганночка, как ты могла... Но потом пошел куда-то, лестницу длинную достал, на чердак

вскарабкался и дверь изнутри открыл. Я, помню, еще сказал ему: да вы, М.М., в полном порядке, вы так по лестнице и к девушкам через чердак лазать можете...

Не гнушался никакой работы Михаил Моисеевич, и с лопатой его видел, и с метлой, сам подметал дорожки у себя на даче и делал это тщательнейшим образом. А в другой раз говорит: что-то у вас, В.В., машина грязная, давайте-ка ее помоем. И тряпку уже взял, хотел машину мыть. Насилу тряпку у него отнял, обещал сам дома чистоту навести... Правда, в конце жизни почти ничего не видел. Помню, были с ним в Линаресе, так я, когда мы дорогу переходили, брал его под руку — это я-то с моим зрением! — и говорил: зеленый, пошли! Вот, думал, ошибусь, и оба экс-чемпиона мира одним махом на тот свет отправятся...»

2005. «...у нас сейчас в федерации ситуация напряженная, и чем дело кончится, никто не знает. Как говорил Баррерас (был на Кубе такой деятель) — ху ноуз. У него что ни спросишь, так он: ху ноуз, вот и у нас — ху ноуз. Вы знаете, Г., я теперь на диете сижу. Для глаз. Не знаю, становится ли лучше, хорошо, что хуже хоть не становится. В чем диета заключается? А в том, что надо только натуральные продукты есть, а все, что человеческими руками сделано, избегать: все вредно. Колбасы там всякие, сосиски, даже курицу нехорошо — ведь они, бог знает чем, куриц нынче кормят. И молоко нельзя, и сметану, все, что я так любил раньше, все и нельзя... А хороши очень овощи всякие. Например, кабачки, помидоры, баклажаны. Потом немножко чесночку для вкуса добавить, все с луком обжаривать на подсолнечном масле и на медленном огне до кондиции довести. Изумительное блюдо, доложу вам. Надежда Андреевна его так готовит, что пальчики оближешь. Только, Г., имейте в виду — кабачки лучше чтобы молодые были, тогда с них и шкурку снимать не надо, а шкурка тоже полезна.

Нет, в последнее время совсем не пью. Специалисты говорят, что полезнее всего — водочка, но и водочки почти не пью, потому что не с кем особенно, разве что вы в ноябре в Москву нагрянете... Правда, на днях в ресторане на каком-то чествовании рюмашечку опрокинул. Так Надежда Андреевна сразу меня от этого дела отвратила и, заметив графинчик с морсом, мне все подливала. Это она только думала, что с морсом. А на самом деле там было винцо красное. И недурственное. И я, знаете, так поднабрался, что со стула едва поднялся, едва домой приплелся...

Что-то у меня нога болит в последнее время, ходить трудно стало. Доктор давеча сказал, что ногу нужно разрабатывать, гимнастику делать, а я ему — какую гимнастику? Я заслуженный мастер спорта, а вы мне — гимнастику... Были тут у меня недавно из института Рериха калмыки, так знаете, что сказали? Чьей я реинкарнацией являюсь? Алехина? Нет, Алехин — это Каспаров. Тарраш — Хюбнер. А я — Петров Александр Дмитриевич. Тот, кто защиту изобрел, хотя он, вообще говоря, статским советником был. Задачу Петрова помните? — Бегство Наполеона из Москвы. В Москве ведь все сейчас рублички да рублички. Как в песне — гоните рублички вы для республички, только у нас теперь рублички за все спрашивают. И еще какие! Я вот гречку давеча покупал, так она всегда четыре рубля стоила, а сейчас... Десять? А семнадцать — не хотите? Так я домой с расстройства вернулся, а Надежда говорит: иди, все равно покупай, мы что, бедные...»

Как это нередко бывает с бездетными людьми, он любил детей и нередко во время наших прогулок останавливался, указав мне на то или иное малое существо. В 2005 году появилась у Смысловых кошечка, Белка.

Относятся к ней как к ребенку, восполняя дефицит нежности и ласки: в голосах у обоих — любовь.

2005. «...на Новый год — на даче. И раньше бывало иногда, что на даче встречали, а сейчас только из-за Белочки в город на зимние квартиры не переезжаем. Она сразу моей любимицей стала. Мягонькая, глазки как пуговики. И привереда: я для нее печеночный паштет покупаю, сам не притрагиваюсь, но очень уж ей нравится. А так — только специальную кошачью еду признает, пытались и рыбку ей давать, и другое, а ей только эту еду кошачью и подавай. Однажды ключи уронил, так она с ключами стала играть. По столу ходит, ничего на столе оставить нельзя. Или на веранде за клубком гоняется, а то вот во двор выскочила и шась — на дерево! Здесь ей простор, а в квартире у нас теснота, да и носиться станет, того и глядишь чашку скинет, а чашка — фарфоровая. Красавица, вся беленькая, а бока бежевые, и глазенки сверкают...»

2006. «Как чувствую себя? Что и говорить, Г., нет прежней живости в членах. Рюмочку выпью ли под Новый год? Не исключёно, как говорил один академик. Не исключёно. Я, Г., в последнее время часто о жизни задумываюсь... Жалею ли о чем? Жалко, конечно, что не был серьезным, академическим, может, тогда бы и дольше чемпионом

мира оставался. Да и пеня жаль. Наверное, если бы прилежнее занимался, больше проку было бы. Вот ваш друг в Амстердаме, певец, талант мой совсем не как любительский рассматривает. Это, конечно, комплимент мне. Да и сейчас я мог бы пением деньги зарабатывать. Меня вот в Самару звали: пять арий пропеть, гонорар: 1000 долларов. Да я отказался: пусть и не так далеко, но уж больно утомительно...

А как вам в Москве показалось? Дороговизна? А это от того, что вы, Г., все по ресторанам шастаете, а ежели самим готовить, хоть тоже не дешево, но жить можно. У нас в этом году яблоки уродились отменные — антоновка. Несколько мешков нам собрали, так что приезжайте, я вас антоновкой угощу, да и груши уродились, а их поди лет двадцать как не было... Белка? Она у нас самая главная, знает это, конечно, и ведет себя как принцесса. А если кто-нибудь в гости придет, то чинно тоже усаживается, прямо член семьи».

2007. «Я, Г., записался добровольцем. А теперь попробуйте, догадайтесь: куда? Да нет, не в ДОСААФ, совсем не в ДОСААФ. У нас тут давеча в газете «Московский Комсомолец» объявление появилось: чудесный порошок открыли. И такой, знаете, замечательный порошок, что человек, после того как его примет, может легко прожить до 800, а то и 900 лет, как в свое время было, так ведь в Библии написано. И опыты уже проводили, знаете, с мышами, так мыши лет тридцать жили... Вы не слышали, а написано было. Так что, нет препон к совершенству. Понимаю, конечно, что все это от лукавого, но все же...

Впрочем, насчет мышей не знаю, но вот дохлую лошадь оживили. Как? Ну, честно говоря, не дохлую, а полудохлую, но когда дали ей этого самого порошка, слепая лошадь настолько лучше видеть стала, что можно сказать, прозрела. А у лошади тоже с сетчаткой проблемы были, прямо мой случай, короче говоря, требуются им добровольцы, я и записался, потому что подхожу под этот порошок по всем параметрам. Хотя трудно поверить, конечно, что до 800 лет удастся дожить, но по части зрения — чем черт не шутит. Позвонил я профессору. Спрашивает у меня профессор о возрасте. Я честно говорю: восемьдесят шесть. Профессор тут прямо и заойкал — ой, ой, ой. А я ему говорю, что до восьмисот лет дожить, понимаю, шансов немного, мне бы только глаза поправить... Так что теперь жду порошка.

А то вчера сон приснился: сижу я и читаю, и так хорошо мне, прямо благодать, да и книжка интересная попалась, и текст вижу отчетливо, каждую букву, а проснулся — снова сплошной туман...

Это история про порошок – иррациональная, а другая – рациональная. Нужно мне, Г., операцию делать, железку в ногу вставлять, как Вере Николаевне Тихомировой пару лет назад в тазобедренную кость железку вставили. Она ведь тоже едва ходила, а теперь, говорят, стометровки бегают. Нет, только на правой ноге, левая еще ничего вроде, а вот правая сбой дает. Был я на рентгене, врач мне снимок показывает, на правой, говорит, совсем кость стерлась, видите, говорит. А я ничего не вижу! Но врач настаивает на операции, говорит, если затянете, то поздно будет, уже никакая операция не поможет. Так что придется в июне мне в больницу лечь...

А к нам не собираетесь? В ноябре? На Таля Мемориал? Так ведь был уже в прошлом году. Еще один? Смотрите, второй турнир, Мише посвященный, а вот Михаилу Моисеевичу еще ни разу турнира не провели. Да нет, я не к тому, что Таль теперь из другой страны, просто и Михаил Моисеевич тоже турнир заслужил...

Пою ли? Да нет, редко очень. Сам слышу – голос садится. Может оттого, что в больнице долго лежал, а может, от возраста. Вспоминаю, как Иван Семенович Козловский мне тоже на это жаловался. Хожу еще как-то с палочкой, но таблетки теперь от давления принимаю. Сам себе давление меряю, два аппарата есть у меня, один даже говорящий, чуть что – советует: батарейки, мол, заменить надо, или неправильно что-то подключил. Все знает аппарат! Кто продукты покупает? Да сам иногда ковыляю, а то заказ делаем, из магазина привозят. Квартиру нашу в Москве обчистили, а милиция не реагирует... У нас теперь это в порядке вещей, как у Гончарова, помните – «Обыкновенная история». Зависти у людей слишком много, вот что я думаю. Я последнее время частенько Ботвинника вспоминаю. Он ведь всех делил на две категории: пройдох и прохвостов. Теперь ведь что? Деньги, деньги, деньги... Знаете, как Иван Семенович Козловский пел в «Борисе Годунове»? Поет он, значит: у меня дома денежки припасены..., а из-за кулис голос тихонько так говорит: – и немалые! Иван Семенович даже поперхнулся... Я ведь тоже за матчи с Ботвинником денежки получал, но по сравнению с нынешними – жалкие крохи.

Нет, сейчас в церковь не хожу, хоть церковь от нас и не так далеко. Не вижу ничего, да и видя, можно подскользнуться. Но каждый день молитву читаю. Послал Бог мне испытания за то, наверно, что загордился в свое время, думал, что играю лучше всех на свете. Но хорошо еще, что понимаю это. Знаете, что Черчилль сказал, ведь не самый глу-

пый человек был? Не знаете? А сказал он: счастлив тот, кто совершал ошибки в молодости, а в старости избавлен от их повторения.

Меня тут в Цюрих приглашали на юбилей клуба, но отказался из-за глаз. Ну куда я поеду, когда не вижу почти ничего. Но интервью дал, сказал им, что для меня Цюрих значит. Я ведь там турнир свой лучший в 53-м году выиграл! И после этого не раз бывал там. И с Кересом, и с Флором. Однажды, помню, в шестидесятых был там на гастролях. Поручений мне, ясное дело, надавали, все они на бумажке записаны были. Все купил, что просили, только одного найти не мог: цепочку для дверей, не было тогда в Москве дверных цепочек. Поверите ли, Г., — так и не нашел дверной цепочки. Ни в Цюрихе, ни в Женеве не нашел. Не понимали швейцарцы, что я в виду имею. Так без цепочки в Москву и вернулся, сказал: во всей Швейцарии нет дверных цепочек!»

2009. «Встаю ли? Встаю, но хожу с ходунком, а вот недавно еще с тросточкой ходил. Теперь моя цель основная — от ходунка к тросточке перейти. Но знаете, Г., я в последнее время множество интервью дал, и Шароеву Антону Георгиевичу, моему другу, который новую постановку оперы «Христос» Антона Рубинштейна делает. Шароев сказал, что мою Эпиталаму специалисты слушали и прекрасно о ней отзывались. Так что я со своими интервью активность немалую проявил, только с гонорарами швах.

А вот недавно дал большое интервью алма-атинской газете. Несколько дней они меня допрашивали, я согласился только потому, что во время войны в Алма-Ате был, туда наш Авиационный институт эвакуировался. Знаете, что за гонорар они мне дали? Никогда не догадаетесь. Несколько мешочков сухофруктов. Они где-то на кухне стоят, не знаю, что и делать с сухофруктами этими, компот что ли из них варить...

Тут меня надоумили гараж продать, у меня ведь гараж в центре Москвы, рядом с домом на Восстания. Говорят, больших денег стоит теперь. Или картину какую. Есть у меня картина знаменитого передвижника Киселева, у него картины в Третьяковке висят. А как продать? Облапошат вмиг, с картинами у нас знаете как — дашь на экспертизу, так вмиг копию перерисуют и не отличишь, а себе оригинал оставят. Вор на воре сидит и воров погоняет. Я тут подумал — не позвонить ли мне Виктору Львовичу в Цюрих. Швейцария ведь страна культурная, и воровства нет. Домик какой-нибудь приобрести, на первом этаже поселиться. У вас есть, наверное, его телефончик? А может, в Голлан-

дию перебраться? Но банки ваши, я слышал, не так основательны, как швейцарские, к тому же в Амстердаме тихого места не сыскать. Помню, жил в «Краснапольском» — Содом и Гоморра. Как это вам удалось в тихом месте домик найти, долго искали, наверное...

А то вот как-то ночью не спал и начал о своем возрасте думать, так он мне прямо-таки сказочным показался. Как это так — мне восемьдесят восемь лет? Как такое может быть?.. Вот вы на возраст жалуетесь, а прибавьте к вашим еще двадцать два годочка. Это как? Вот то-то и оно...

Потом вспомнил, как с отцом и матерью в Севастополе отдыхали. Было это как вчера, а на самом деле — восемьдесят лет назад, летом 28-го года... Вы не поверите, но я с тех пор в Крыму так никогда и не был. В Аргентине был, в Исландии был, на Филиппинах был, где только не был, а в Крыму не был.

А знаете, что в моем возрасте Александр Борисович Гольденвейзер сказал? Да, тот самый, консерваторский профессор, кто еще с Толстым в шахматы играл. Когда стали его укорять, что он на политучебу не ходит, сказал Александр Борисович: милые комсомольцы, я чувствую себя уже ближе к первоисточникам. Так вот и я, Г., к первоисточникам ближе уже себя ощущаю... Скажу вам, Г., что такое настоящая старость. Настоящая. Это когда берешь телефонную книжку, а в ней только перечеркнутые имена...»

Большую часть жизни ему выпало провести в среде, далеко не всегда соответствующей его убеждениям. Но обладал он талантом счастливо и спокойно жить даже в такие непростые времена. Считался он сибаритом, созерцателем, лентяем. Действительно, целенаправленные занятия «от и до», в строгом режиме, научный, академический подход был не для него. Но даже в глубокой старости Василий Васильевич Смыслов не мог полностью отдаться умудренной возвышенной недейтельности. Жила в нем неодолимая потребность творчески выразить себя, и эта страсть не покидала его едва ли не до самого конца, когда отпущенные дни кажутся не милостью, а тяжелой ношей.

Несмотря на всю религиозность, был очень земной, любил мишуру светской жизни, внимание, приветствия, славословия. Был охоч до славы, аплодисментов. Графское звание, присвоенное ему неизвестно кем, неизвестно за что, привело его в приподнятое состояние, и он с гордостью сообщал об этом. В последние годы, если позволяло здоровье, с удовольствием посещал всевозможные рауты, первенства мира по подкидному дураку, по шахматным поддавкам, бывал на чество-

ваниях, церемониях, юбилеях. В трудных вопросах бытия прибегал к спасительному «на том свете разберутся», а в шахматах, безгранично веря в свой выдающийся талант, полагал, что во всем разберется сам и найдет наилучшее решение за доской.

Когда вздыхал, что операция не помогла, что зрения почти не осталось, говорил ему, что слепота — благородный недуг, приводил в пример Гомера и Мильтона. Слушал внимательно, не прерывал. Оживился только при упоминании надписи на гробнице Галилея: «потерял зрение, поскольку ничего уже в природе не оставалось, чего бы он не видел». «Вот-вот, так и со мной. Знаете, сколько я всего повидал на своем веку?»

Очень понравилась ему строка, на которой остановилась рука Карамзина: «Орешек не сдавался...» «Не сдавался!» — повторил он почувствованно, когда я прочел эту последнюю запись историка. «Знаете, Г., когда вы позвонили, я в кровати валялся. Но пусть и валялся, я все еще стою. Меня трудно на части разобрать...»

В последние годы сильно изменился: выцветшее, полинялое лицо, неуверенная походка, маленькие, почти ничего не видящие глазки. Как это часто случается с людьми сильно в возрасте, стал подозрительным, мнительным, уходил порой в свой мир. Отказывающееся служить тело стало не союзником, а врагом: его одолевали всяческие хвори, несколько раз он лежал в больнице, в конце почти не мог передвигаться. Но необычайная сила духа и жажда самовыражения перевешивали тяжесть бытия: человек духа неподвластен боли и недугам.

«Как вы думаете, — спросил однажды, — какая партия больше всего мне дорога? Скажете, наверно, — с Ботвинником какая-нибудь, с Кересом, с Решевским... Промах! С Герасимовым! Мне четырнадцать было, партия эта — моя первая напечатанная. Отец очень ею гордился, сам переигрывал и друзьям показывал: смотрите, какую комбинацию мой Вася провел! И руководитель нашего кружка в Замоскворечьи Федор Львович Фогелевич тоже всем показывал, говорил — вот будущий чемпион! Даже Мише Талю нравилась атака из той партии. Говорил Миша: только по этой партии можно судить об огромном таланте...

А какой успех я считаю самым крупным в жизни, как думаете? Выигрыш кандидатских турниров, скажете? Матча у Ботвинника? Снова промах! Самого крупного успеха добился я, Г., в 37-м году. В первенстве Стадиона юных пионеров, где все одиннадцать партий выиграл. Ни одной ничьей не дал. А ведь там сильные игроки были, почти все мастерами стали, у меня таблица того турнира сохранена.

Отец ведь мне до четырнадцати лет разрешал только дома играть, выдерживал, не хотел втягивать в соревнования. Поэтому, может быть, я и школу с отличием закончил. Дома играл с ним, с друзьями его, а потом пошел в Замоскворецкий Дом пионеров. Так наша команда все матчи под ноль выигрывала: Загуров, Голубовский, Каноян, Усов, Ельцов. Помню Володю Симагина в бархатной курточке, он вундеркиндом считался. Выиграл я и у Симагина.

А знаете, Г., когда Алехина незадолго до смерти спросили, кого он из молодых самым перспективным считает, сказал Александр Александрович: есть вот в России такой Смыслов. И пусть короткое время, а был я лучшим в мире в своем мастерстве».

Он никогда не отказывался, когда я просил передать что-нибудь моим в Питере. «Ну что за вопрос, Г., единственное – не знаю, когда представится это с оказией из Москвы переправить».

Сейчас его нет. О нем напоминают книги, диски и пластинки, с трогательными надписями, когда и с наползающими друг на друга буквами. Его нет. Давно нет и тех, кому он переправлял мои голландские подарки. На самом деле не исчезло ничего: все сохранилось, все осталось в благодарной памяти.

Позвонил ему 9 марта 2003 года. «Сегодня, Василий Васильевич, – юбилей».

«Какой еще юбилей?»

«Сегодня Фишеру шестьдесят лет исполняется».

«Да что вы, а ведь я его еще мальчиком помню. Как время летит... Вот Фишеру шестьдесят уже. Фишер... Читали мне, читали его высказывания. Он безумен, конечно. Безумен в своих идеях. Но вот попросили давеча ему книгу подписать: очень ему понравилась моя книжечка. Подписал, конечно. А знаете, совпадение какое: у нас сегодня утром в гостях дама одна была, подруга Надежды Андреевны, и спросила – правда ли, что Фишер самый гениальный игрок за всю историю шахмат? А я ей так сказал: правда, конечно, да только кроме него тоже были самые гениальные...

А между прочим, сегодня не только у Фишера круглая дата. Сегодня и Прощеное воскресенье! И надо всем друг у друга прощения просить. Так что вы уж простите меня, Геннадий Борисович, если я что-то не то сказал или сделал».

«Простите и вы меня, Василий Васильевич».

1992 год. Тилбург. Смыслов успешно прошел три круга и только в жестоком перебое в шестой партии блиц четвертого круга уступил Евгению Свешникову. На следующий день он возвращался в Москву.

Когда я спустился к завтраку, не было еще восьми. Ресторанный зал был пуст, только в центре за большим круглым столом сидел в одиночестве Смыслов.

«Я знал, что вы придете, Гена. Садитесь, садитесь... А я с пол-пятого не сплю. Терзался сначала: чего понесло старого дурака в последней партии Уфимцева играть... А потом жизнь свою начал перебирать... Эх, кабы Волга-матушка да вспять побежала, кабы можно было жить начать сначала... Подумал еще — а как? Как прожил бы? Наверное, так же и прожил... А потом спросил себя — когда же ты больше всего счастлив был в жизни? Знаете когда? На Стадионе юных пионеров. Довоенном, московском. Как сейчас вижу: разбирает Абрам Исаакович Рабинович партию, а мы, пять-шесть мальчишек вокруг столика сгрудились и говорим — лучше здесь у черных. А он — какое лучше, что вы понимаете, пижончики... Тут мелькание рук начинается, каждый свой ход норовит сделать. Он — так, а мы ему — этак, он — сюда, мы — туда... А он фигурками всё постукивает, да приговаривает: ходите, пижончики, что вы в шахматах понимаете...

Потом решил почитать что-нибудь, Библию со стола взял. И знаете, Гена, что мне показалось: по-английски Библия длиннее будет, чем по-русски. Может ли такое быть?»

«Да не думаю, Василий Васильевич, с чего это вы решили?»

«Да так показалось... Да, еще вот что хотел спросить: “sting” ведь по-английски — жало? Так ведь?»

«Да. А к чему это вы?»

«А я сам догадался, когда ночью прочел: «Смерть, где твое жало?» Впрочем, что это я с утра пораньше вам голову морочу... Пойдемте, пойдемте, возьмем что-нибудь со стола, яствами уставленного. Сейчас мы сырком голландским закусим, да и ветчинкой не побрезгуем. Что это вы мне третьего дня насчет калорий говорили?..»

Подойдя к столу, первым делом залпом осушил стакан сока и тут же наполнил его снова. Запрокинув голову, снова сделал большой глоток и перевел дух: «А вы потом, Гена, напишите, что не считал калорий Смыслов, да и сочком по утрам сверх меры баловался...»

И, поправляя сползшие очки, улыбнулся замечательной улыбкой своей: «Ничего не перепутаете, Гена? Все напишете? Не забудете?»

«Не забуду, Василий Васильевич».